ОЛЖЕС ТАТАРИН

серия романов «КСАНТИЯ»



8:15 — всегда

КНИГА ТРЕТЬЯ

КОНТОРА УДОБСТВ

мистический детектив · 18+

Олжес Татарин

Контора удобств.

«Автор»
2026

Татарин О.

Контора удобств. / О. Татарин — «Автор», 2026

В отдел учёта портового хозяйства приходит практикант — сын Поладина, Кирилл. Первая же ведомость приносит первую строку, которой не должно быть: в графе «время» уже стоит 8:15 — рукой, которая не принадлежит практиканту, раньше, чем время могло настать. Под строкой — вторая. Читать её нельзя: она читается сама, когда чтец не собирается. На набережной открылась контора «Готтия-траст»: часы, которые показывают всегда одно и то же, реестр, отдающий больше документов, чем требует пожарная инструкция, и подпись, которая держит того, кто поставил её. Город, победивший Садовника, обнаруживает самую страшную уязвимость — через год после победы город стал удобным.Слоган: «Часы, которые показывают всегда одно и то же, — это не поломка. Это приём».

© Татарин О., 2026
© Автор, 2026

Олжес Татарин
Контора удобств.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ. РАСХОД УЮТА В первое сентября Кирилл встал раньше будильника. Это случилось не от волнения — волнения он умел гасить, как гасят уравнение: переносом всех неизвестных в одну сторону. Он встал раньше, потому что проснулся уже собранным: рубашка лежала на спинке стула сложенной так, как складывают только для переезда, конверт с направлением — в папке, между справкой из школы и копией паспорта, на нижней полке письменного стола, где вещи лежат, к которым не возвращаются до срока. Он не возвращался к ним до срока. Срок настал. Настроение в доме было деловое. Мама искала ему второй носок и находила первый. На кухне пахло сопротивляющейся жизнью: пережаренным желтком, дешёвым мылом, которым стирали рабочую робу, остывающим металлом турки, — честным запахом быта, у которого нет графика. Поладин завтракал молча, с той молчаливостью, которой он отличал рабочее утро от выходного, и только когда Кирилл взял папку, сказал — не поворачивая головы: — Считай всё, что в руки попадёт. И не подписывай, не читая. — Это из инструкций? — спросил Кирилл. — Это из жизни, — сказал Поладин. — Из инструкций этого нет. В инструкциях пишут «сверьтесь с графиком». А в жизни сверяются с тем, кто график ведёт. Илья уронил ложку. Ложка была алюминиевая, лёгкая, и упасть ей было нечему — на полу лежал ковёр; но звук упал так, как не падают алюминиевые ложки: коротко, твёрдо, как стук в дверь. Илья поднял ложку, сказал «извини» — не ясно кому, — и доел кашу молча. В отдел учёта управления портового хозяйства Кирилл пришёл за двадцать минут до начала. Его встретила старший счетовод Софья Марковна — женщина того возраста, когда спина уже знает все ведомости наизусть, а лицо ещё не решилось это показать. От неё пахло стеарином и казённой бумажной пылью — пылью, которая оседает на папках, стоящих по годам, как годичные кольца. Она провела его по коридору, довела до окна с широким подоконником и поставила на подоконник стакан с карандашами. — Счетоводство — не арифметика, — сказала она, не поднимая глаз от своей ведомости. Пальцы левой руки машинально расправили загнувшийся угол старой накладной. — Арифметику знать будут все. Счетоводство — это знать, когда не считать. Она сделала паузу, дожидаясь, пока скрипнет его стул. — Поймёте — станете счетоводом. Не поймёте — будете всю жизнь складывать. Она подвинула к нему гроссбух. Пластик обложки прилип к полированному дереву с сухим, чавкающим звуком. Толстый, в клеёнчатой обложке, с каймой по краю листа — кайма была зелёная, старая, выцветшая на сгибах до бледного. Кирилл провёл пальцем по краю — не по бумаге, по кайме, — и палец не заметил перехода. Ему показалось, что кайма и бумага одной температуры. Он не знал ещё, что запомнит эту секунду на всю службу: у всякого ведомства есть свой край, и счёт начинается с умения чувствовать, где он проходит. — Сегодня вы не пишете, — сказала Софья Марковна. — Сегодня вы смотрите, как пишут. Завтра — пишете под мою диктовку. Послезавтра — сами. Он смотрел до обеда. Писали ровно: стол не скрипел, ручки не рвали бумагу, цифры ложились с интервалом, равным до миллиметра. В кабинете не пахло чернилами — в кабинете пахло калькой и клеем, так пахнут документы, которые заполняют до того, как они понадобятся. Кирилл поймал себя на том, что следит не за цифрами — за ритмом. Ритм был правильный. Правильный до того, как стал подозрительным: в правильном ритме не бывает вдоха. У живой руки между строками бывает вдох. Здесь не было. Первую запись он сделал на второй день. Ему дали ведомость прихода — склад 2, тросы буксирные, поступление по накладной сто восемнадцать. Обычная строка: число, время, наименование, количество, источник. Кирилл проверил накладную, сверил с остатком, вывел итог — и записал. Рука шла ровно. Он писал аккуратно, как пишут под устав, — и, закончив строку, посмотрел на неё и увидел то, за что на него потом будут ссылаться три книги. В графе «время» уже стояло: 8:15. Не его рукой. Его рукой время

не вносилось — он внёс его последним, после итога, как учили. Но в графе стояло 8:15 — четверть девятого — ровным почерком с нажимом, с той манерой ставить связки, которая бывает у людей, всю жизнь пишущих для чужого чтения. Кирилл не знал ещё, что этот почерк стоит на трёх листах в папке с его документами на практику. Он знал только, что это не его рука. Он закрыл гроссбух и постоял с ладонью на обложке — так стоят на чужом чемодане, чтобы не унесли. Открыл снова. 8:15 стояло на месте. Он снял копию — на копии время тоже стояло, и на копии оно уже не могло быть ошибкой зрения. Он сверил с часами в зале: было 9:02. Значит, время в графе было не настоящим. Времени, которого не было, вписали в ведомость раньше, чем оно могло настать. Кирилл не позвал Софью Марковну. Он не позвал её не от страха — от счёта. Он знал, что скажет: «Ничего не вижу, почерк ровный, все графы заполнены». И это будет правда. И это будет то, от чего нет защиты. Подлинность — не графа. Подлинность — это то, что не проверяется инструментом, а только рукой, которая её узнала. Вспомнилось письмо. То, из папки, которое он перечитал в субботу и не дочитал: «не вноси в опись того, что держит тебя» — он понял; «суеверие — это протокол, у которого забыли основание» — переписал на оборот тетрадного листа. А дальше письма не хватило: мать позвала из прихожей, и последний лист внимания так и остался за границей страницы. Кирилл вдруг понял с ясностью, которая приходит не к ученикам, а к должникам, что письмо читалось не для знания. Письмо читалось для порядка чтения. Кто прочёл всё — тот знает, что делать с первой строкой. Кто прочёл половину — тот стоит у первой строки и не знает, что она первая из многих. Он провёл пальцем по своей строке ещё раз — на этот раз снизу, под чернилами. Под строкой была вторая строка. Она не проступала — она лежала. Так лежит под свежей побелкой старое письмо на стене: его видно не глазом, а памятью о том, что на стенах пишут. Кирилл водил пальцем и не мог прочесть — не потому, что темно, а потому, что читать её нельзя: она читалась сама, когда он не собирался. В тот момент, когда он начинал читать нарочно, буквы уходили под слой бумаги, как уходит под лёд человек, который не хочет, чтобы его видели. Он закрыл гроссбух и записал в свой черновик — не в ведомость, в черновик, в тетрадь, которую завёл для заметок, — одну строку: «Ведомость прихода 2. Время в графе стоит раньше, чем вписано. Под строкой — вторая. Не читать». И поставил дату. Дата была настоящая — он проверил по часам в зале, вторично, уже с секундомером, как проверяют всё, что собирается сообщать старшему. Старшему он не сообщал. Он решал так: пока он молчит — строка одна. Как скажет — их станет две, и вторая будет его. В четверг ему дали первое поручение. — Сверка, — сказала Софья Марковна, снимая очки и протирая их платком — не суетливо, размеренно, как протирают то, что протирают тридцать лет. — Пройдётесь с ведомостью по конторам. Одна у нас новенькая — на набережной. Готтия-траст. Открылась летом, а документов отдала больше, чем пожарная инструкция. Сверьте их реестр с нашим приходом. Заодно посмотрите на часы, которые они себе поставили. Нам докладывают, что часы врут. — Врут как? — Показывают всегда одно и то же, — сказала Софья Марковна и посмотрела на Кирилла поверх очков. — Но с такой уверенностью, будто это и есть время. Контора удобств стояла на набережной между пекарней и мастерской, и стеклянная дверь была открыта настежь — не нараспашку, как открывают жарким днём, а настежь, как открывают навсегда. От пекарни, в десяти шагах, тянуло горячей сдобой и подгоревшим на дне сахаром; от мастерской — машинным маслом. Кирилл вошёл — и запах оборвался, как обрывают нить. В холле было прохладно так, как бывает прохладно в помещениях, где платят за тепло по расписанию: не живым сквозняком, а расчётом. Здесь пахло не пекарней и не мокрой шерстью прохожих. Воздух был стерильный: смесь озона, разогретого пластика и той специфической бумажной пыли, которая оседает только на документах, уже заполненных за тебя. Это был запах готового решения, в котором не осталось места для человеческого выдоха. Часы стояли на бронзовой ножке — он увидел их раньше кассы. Белый циферблат, минутная и секундная стрелки. Стрелки шли — и шли не так, как идут стрелки: секунды двигались рывками, по девять за раз, потом замирали на девять секунд, потом снова.

Они шли в такт — такт был у них общий, и Кирилл, слушая, поймал этот такт не ушами, а чем-то, что слышит раньше ушей. Часы показывали четверть девятого. 8:15. Он стоял перед часами сорок секунд — он считал, потому что не умел не считать, — и понял то, что не умел бы сформулировать до практики: часы не отставали. Часы не стояли. Часы показывали время, которого нет. Времени, которого нет, вписали в его ведомость на второй день — в графу «время», его рукой не вписанную. Значит, ведомость и часы читались из одного источника. Значит, источник один. И значит, его первая запись в ведомость не была его записью: он вписал то, что уже было вписано. Строка легла на чужую строку — не поверх, а вслед. Как ложатся следы на след, когда идёшь по чужой тропе быстрее, чем шёл тот, кто её протоптал. — Вам бумагу? — спросили от кассы. Женщина за стойкой была высока, стройна, с тёмно-зелёными глазами и вьющимися чёрными волосами, спадавшими чуть ниже плеч. Она смотрела на Кирилла с той улыбкой, которой улыбаются не человеку, а его ведомости, — и голос её был бархатный и обволакивающий, как бывает голос у тех, кто говорит так, чтобы слушающий забыл, что он слушал. Пальцы её лежали на стойке неподвижно — так лежат руки у того, кто давно решил, что в этом холле всё уже решено. — Сверка, — сказал Кирилл. — Отдел учёта. Реестр ваш, ведомость наша. — Аккуратно, — сказала Феллия Бель и протянула реестр через стойку — так, как протягивают не документ: доступ. Реестр был безупречен. Кирилл сверил строки — и сверка не сходилась в том единственном месте, где сходиться и не должна была: остатки сходились раньше, чем он их считал. Он смотрел на строку — и знал итог до того, как складывал. Это не было даром. Это было тем, что бывает у готового счёта: счёт, который уже посчитан, не тратится на сложение. — У вас всё сходится, — сказал Кирилл. — У нас всё удобно, — сказала Феллия Бель. — Это лучше. Он шёл домой по набережной и думал о том, что удобство — это расход. Не уюта — расхода. Удобство покупается временем, которое больше не тратят на ожидание, и голосом, которым больше не спрашивают, и вдохом, который больше не делают между строками. В городе, где всё удобно, не остаётся паузы. А в паузе живёт то, что не вписано. За спиной, в холле, часы показывали четверть девятого. Вечером дома Илья рисовал. Кирилл заглянул через плечо — привычка, оставшаяся с тех времён, когда Илья рисовал корабли. Теперь Илья рисовал часы. Обычные, на ножке, с белым циферблатом — и с одной стрелкой, застрявшей на четверти девятого. Второй стрелки на рисунке не было. Была одна — и она не шла. — Что это? — спросил Кирилл. — Часы, — сказал Илья. — Которые всё время показывают, когда надо. — Когда надо — что? — Вставать, — сказал Илья. — Они будят. Но не всех. Кирилл посмотрел на рисунок дольше, чем нужно, чтобы рассмотреть. Потом достал из папки тетрадный лист — тот, на обороте которого было переписано из письма, — и прочёл ещё раз: «суеверие — это протокол, у которого забыли основание». Под этой строкой он дописал, не зная зачем, вторую: «8:15». Поладин вошёл в комнату, когда Илья уже спал. Он стоял в дверях и смотрел на рисунок на столе — часы с одной стрелкой. Поладин знал рисунки сына так, как знаток знает почерк: по нажиму. Нажим на рисунке был ровный — тот самый, с которым Илья спал ровно, с которым Илья шёл ночью к замку. Он не спросил. Правило, которое он выучил за осень, гласило: не спрашивать про то, что ребёнок рисует по собственному выбору. Поладин поправил абажур, посмотрел на часы на стене — 23:40 — и впервые за месяц поймал себя на мысли, что не знает, правильное ли время показывают его собственные часы. Он поднял их к уху. Тик был ровный. Ровный до того, как стал подозрительным. В ту же ночь, за стойкой конторы, Кацилян вписывал в смену изъятое. От конторы вечерним запахом отделяло всё, что можно: но в подсобке за кассой пахло лампой — керосином, нагаром и горячим металлическим абажуром. Его журнал был без писца — он вписывал сам, рукой живого, и рука его шла так безупречно, как не шла ни у одного писца, потому что у живой руки между строками бывает вдох, а у Кациляна вдоха не было с той ночи, когда его снимали. Он вписывал строку за строкой — и на строке про отдел учёта остановился. Против строки «Практика. Отдел учёта управления портового хозяйства» в графе «получатель» стояли двое. Первым стояло: «сын».

Вторым: «читатель». Кацилян смотрел на эту графу долго — так долго, как смотрят на расход, который нельзя отнести. Потом он вывел в графе «плата» одно слово, и рука его не дрогнула, потому что дрожать было уже нечем: «Протоколом». Он закрыл журнал и понял то, что станет его сменой на месяцы вперёд: опись завела себе ученика. Не писца — писцов она умела принимать. Ученика — того, кто вписывает, ещё не зная, что вписывает, и потому не может соврать в графе «подлинность». У павших нет доступа к живому, который вписывает чисто. Значит, живому, который вписывает чисто, они не могут не платить. А платить им было нечем — кроме того, что у них было: протокола. Правил. Грамматики. Изекириль платил булками и протоколом — так, как платит тот, у кого нет ничего: тем, что имеет. За окном, в отцветающих тополях, счёт шёл ровно: три, пауза, три. Кацилян слушал его, как слушают хорошие ведомости: не думая, впитывая. И на самой последней странице журнала, там, где обычно ставится роспись о сдаче смены, он нашёл строку, которую не вписывал. Строка стояла. Почерк был ровный, с нажимом, со связками. «Первого приняли. Начинается расход уюта».«Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше»Сенека, «Письма к Луцилию»

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ. ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ СЕКУНД

Собак в Слободском переулке было две — старая, глухая к половине мира, и молодая, бравшая на себя весь остальной. Они лаяли через восемь секунд. Не «примерно через восемь» — ровно: лай, счёт до восьми, лай. Так было три года, и Боус знал это так же, как знал цену хлеба: без справки, по месту.

Теперь было девять.

Переулок пах мокрой листвой, золой и печным дымом — старым, по-стариковски. Запах был живой: у него не было графика.

Он заметил это не сразу — заметил на четвёртый день, потому что привыкшее ухо пропускает то, что сдвинулось на секунду: секунда — это не звук, секунда — это пустота между звуками. Но Боус держал счёт пустотам. Он начал его ещё в то утро, когда понял, что медальон тёплый вне руки: любое расхождение — это либо сбой инструмента, либо работа счётчика. Сбоев он больше не ждал — после мух, вставших фигурой, он знал: сбой делает инструмент, а безупречность делает тот, кто ведёт.

Он сидел у окна с секундомером — старым, стрелочным, купленным у Петра за стакан чаю, — и засекал.

Лай. Восемь. Лай.

Потом — на четвёртом цикле — девять. Не сбой: не два подряд, не полтора, а ровно девять, с той же аккуратностью, с которой раньше было восемь. Кто-то не испортил ритм — кто-то его переписал. Цифру сменили, как меняют подпись в графе: одной рукой, без помарок.

Боус открыл тетрадь и записал дату, время и строку. Потом подумал — и завёл на развороте новую колонку. Назвал её так, как назвал бы человек, который не хочет врать самому себе:

«ПОГОДА».

Не «явления». Не «аномалии». Погода — это то, что есть у всякого дня и не требует объяснения, пока не начнёшь выходить из дома. В колонке он стал записывать всё, что не сходилось с вчерашним: лай — девять секунд; трамваи на кольце — опоздание в минуту двадцать; швейная мастерская на Заречной — спор слышен с улицы, двое голосов, оба главные.

На третьей странице колонки он написал под ней — мелко, на полях:

«Несверяемое — это не учёт. Это погода. Погоду не вписывают в опись. Погоду отмечают и носят с собой».

Тетрадь отреагировала на колонку раньше, чем он сам: страницы, где были вписаны строки о дожде, шли лёгким влажным разводом — не пятном, намёком; страница с записью о ссоре несла вмятину от пера, продавленную на три листа дальше, хотя нажим был обычный.

Боус провёл по разводу подушечкой пальца и понял: ведомость, которая сама выбирает, где оставить след, — это не ведомость. Это участник.

Слово «погода» он выбрал не от скромности. Он выбрал его от осторожности: всё, что запишешь как явление, — станет строкой, а строку можно прочесть; погода не строка, погода — условие, при котором живут строки. В городе, где всё вписано, погода была последней вещью, которую не просили предъявить документы.

* * *

В понедельник он пошёл по переулкам с секундомером — не по городу, по переулкам: там, где нет движения, ритм слышен чисто.

Собаки лаяли через девять — все, у кого раньше было восемь. Он насчитал пять переулков. В шестом — на отшибе, у старой скотобойни, — собаки не лаяли вовсе: Боус засекал две минуты и не услышал ничего, и тишина эта была не «нет собак» — он видел, как в конце переулка спала на цепи тёмная спина, — а «собакам не о чем». Это было хуже всего. Ритм, который переписывают, — ещё ритм. Ритм, у которого вынули повод лаять, — это пауза, разросшаяся в дыру.

В трамвае на кольце он услышал то же самое, только в голосе.

Вагон пах мокрым сукном, семечками и раскалённым рубильником — честным запахом транспорта, который не подписывал ничего. Двое пассажиров спорили — без темы, без причины, с тем наслаждением, с каким соскабливают засохшую краску. Боус слушал: ни один из споривших не помнил, с чего начал. Оба были уверены, что началось это утром и что прав другой. Каждые полминуты спор приходил к одной и той же фразе — «ты всегда» — и на этой фразе обрывался и начинался снова.

Боус не вписал спор. Он записал в «погоду»: «Раздор без причины. Причина у него будет, но позже. Причина подписана где-то заранее».

К вечеру он понял, что колонка растёт не в длину — в глубину. Первые строки были про звук. Дальше пошли про людей: сосед сверху перестал здороваться — не затаился, а забыл, что здороваться положено; кассирша в булочной за пекарней сбивалась на лице, как сбивается стрелка, — улыбка включалась не на покупателей, а на приход и уход.

Он закрыл тетрадь и сказал Копейке — она сидела на внешней стороне стекла, напротив его руки, на своём месте:

— Это не лень, Копейка. Лень — это не делать. А это делают — делают быстрее, чем раньше, и не замечают, что делают. Ты пойми разницу: лень — это отсутствие действия. А это — действие, у которого вынули причину.

Муха не шевельнулась. Боус поговорил с ней — и сел к тетради снова, потому что за словами пришла мысль, которой было место только на бумаге:

«Если раздор без причины идёт по городу ровно, как раньше шёл ритм, — значит, раздор тоже ведут. Кто-то ведёт и то, и другое. Тот, кто ведёт ритм, — бережёт удобства: он снимает ожидание, тепло, справку, и город благодарит. Тот, кто ведёт раздор, — ржавеет в этом: он вносит ссору в то место, где не осталось паузы, потому что паузу уже сняли. Удобство — это дверь. Раздор — то, что входит в дверь. А дверь открыли мы — тем, что подписали, не читая».

Под этой записью он поставил дату — и впервые за месяц пожалел, что в его ведомстве нет графы «кому передать». Раньше он знал, куда нести несверяемое: Канову. Но Канов — это сетка, а сетка видит строки. Против погоды строка бессильна: её нельзя изъять, её можно только пережить.

* * *

Во вторник к нему пришёл Поладин.

Боус не был удивлён — за все месяцы он ждал этого визита раньше, а визиты приходят не тогда, когда ждут. Поладин стоял на площадке в пальто, не снимая, и это было правильно: он пришёл как следователь, а не как сосед.

— У меня к вам дело, — сказал Поладин и снял перчатку, не дожидаясь приглашения. Пальцы побелели от уличного холода. — Не следственное. Сторожевое.

— Входите, — Боус ногой подвинул к нему венский стул. — Поговорим о погоде.

Поладин вошёл, сел — и на слове «погода» поднял глаза от собственных сцепленных рук.

— Вы это уже заметили?

— Я это уже назвал, — Боус снял очки и начал протирать стёкла краем фланелевой рубашки. — Название — половина дела. Что у вас?

— Дом, — сказал Поладин. — Мой дом. В нём три человека и всё в порядке, и вот это — самое плохое. Мы живём как по графику: завтрак, школа, работа, ужин, сон. Ровно. Дети не ссорятся — дети в их возрасте ссорятся всегда, это норма, это их работа. Старший читает, младший рисует, жена находит второй носок с первого раза. Раньше этого не было. Раньше у нас был беспорядок, и беспорядок был наш. Теперь у нас порядок, и я не знаю, чей.

Боус слушал, не перебивая; ладонь его лежала на закрытой тетради — так лежат на бумаге, которую не хочется, чтобы читали со спины. Потом сказал:

— Расскажите про рисунки. Младший.

Поладин рассказал: часы с одной стрелкой, четверть девятого, «они будят, но не всех». Боус встал, взял со стола часы в бронзовой оправе — настольные, из тех, что стояли у него на полке рядом с лупой и весами, — и повернул к Поладину.

Часы показывали четверть девятого.

— Такие же? — спросил Боус.

— Я не знаю, — честно сказал Поладин. — Я знаю, что мои дома — тик чистый. Чистый до подозрения.

— Возьмите эти, — сказал Боус и положил часы перед ним. — Не вынимать из дома. Не заводить. Просто смотреть, как идут. Если пойдут рывками — по девять, с остановкой на девять, — звоните мне. По телефону не говорите про часы. Говорите про погоду: «У вас какое сегодня?» Я пойму.

— Почему погода?

— Потому что всё остальное записывается, — сказал Боус. — А в записанное можно прочесть. Погода в опись не входит. Пока — не входит.

Поладин взял часы обеими руками — так берут не вещь, а обязанности. У двери он остановился и спросил — не оборачиваясь:

— Сергей Петрович. А если погода не пройдёт? Если это надолго?

— Погода не проходит, — сказал Боус. — Погода меняется. Вопрос только в том, кто её меняет. У нас в городе этим вопросом раньше не занимались, потому что погоду не меняют — ею живут. Теперь живём. Записывайте всё, что заметите. Всё, что не сходится, — это уже строка, просто без графы.

Поладин вышел. Через два дня позвонил и сказал голосом, в котором не было ни страха, ни удивления, — только завершённость:

— У вас какое сегодня?

— С дождём, — сказал Боус. — У вас?

— Тоже. — Пауза. — Рывками.

* * *

В среду Боус увидел того, кого не вписал.

Он шёл с рынка через Слободской — с мукой и сахаром, по мелкому счёту, — и увидел на пекарне покупателя.

Переулок здесь пах на всю ширину: горячей сдобой, подгоревшим на дне сахаром и старым прилавком, пропитанным за тридцать лет всем, что на него клали. Пекарь к запаху привык.

Мужчина. Молодой на вид, лет тридцати трёх, высокий, спортивный, в аккуратной причёске, волосы чёрные, зачёсанные назад. Боус отметил его ровно так, как отмечают всё, что не сходится: по отсутствию.

Не было того, что делают все покупатели: торопиться. Мужчина стоял у витрины и не выбирал — смотрел. Смотрел на пекаря, на весы, на полку с бумажными пакетами, и смотрел так, как смотрят не на вещи, а на порядок вещей. Пекарь торопился — у него были два покупателя, очередь начиналась, — а мужчина не торопился. Он занимал ровно столько места, сколько занимает человек, для которого время не идёт: не мешал, не помогал, стоял.

И глаза — Боус увидел их, когда мужчина обернулся на звук его шагов. Чёрные. Не карие — чёрные, целиком, с бликом, как у стеклянных глаз чучела, и в них не было того, что бывает в чёрных глазах у людей, — отражения. Ветер шёл по переулку — и волосы у соседей на ветру шевелились, а у мужчины не шевелились: лежали зачёсанными, как лежат зачёсанные не рукой.

И он не пахнул. Ни сдобой, ни улицей, ни потом — ничем. Человек без запаха в пекарне — как пустая графа посреди заполненной строки.

Боус не остановился. Он прошёл — шаг, второй, третий — и на пятом понял, что сердце его не ускорилось. Не потому, что не испугался: потому что оно решило не пугаться без его разрешения, как решает не лаять собака, которая видела того, кто держит цепь.

Дома он записал в «погоду» строку, которую не вписал в опись:

«Покупатель на пекарне. Не выбирает — осматривает порядок. Глаза без отражения. Волосы не на ветру. Не вписан никуда: вокруг него ничего не подтверждается — ни тени на тротуаре, ни отзвука шагов на мостовой. Город его не учитывает, и он это знает. Он не скрывается: он не числится».

И ниже:

«Интерес остался в нём. Не вписанный никуда — интерес. Я смотрел на него, и мне стало интересно. Вот она, разница: на всё остальное я смотрю с осторожностью. На него — с любопытством. Это его оружие. Осторожность вписана в нас — в устав, в протокол, в привычку. Любопытство не вписано никуда. Им и заходят».

Он закрыл тетрадь и долго сидел без движения.

Потом открыл снова и дописал — мелко, потому что мелкое не перечитывают:

«Если он придёт говорить — не соглашаться ни на что с первого раза. Соглашаться не раньше третьего. Интерес живёт на скорости».

* * *

В четверг погода изменилась окончательно.

Трамваи на кольце сошлись не по расписанию — раньше. Опоздание в минуту двадцать сменилось опережением в сорок секунд, и это было то же самое движение, только в обратную сторону: не сдвиг — качание. Ритм не шёл. Ритм качался — как качается маятник, когда его раскачивают.

Боус засекал весь день. К вечеру у него была таблица: каждые два часа качание меняло сторону. Утро — запаздывание. Полдень — опережение. Вечер — снова запаздывание. Как будто кто-то качал город не в одну сторону, а туда-сюда — не чтобы сломать, чтобы разболтать. Маятник не ломают резким толчком: его ломают качанием, в такт.

Он написал Канову — не письмо: открытку, на открытке нельзя сказать много. Одна строка: «Проверьте, как идёт ваш метроном. Ваш Д.» Канов ответит через три дня — не открыткой, звонком, и скажет то, чего Боус не знал: «Дмитрий Остапович у меня встал. Не завис — пошёл рывками».

А в ночь на пятницу, в Слободском переулке, обе собаки — старая и молодая — залаяли одновременно.

Через девять секунд обе замолчали.

И до утра не лаяли ни разу. Ночь пахла мокрым асфальтом и остывшей золой — обычным ночным запахом, единственным в городе, который никто не переписывал.

«Время молчать и время говорить»

Екклесиаст, 3:7

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ. ПЕРЕД АПРЁЛЁМ

Рой считал не дни — капли.

Изъятое время возвращалось ему по три секунды в сутки: утром, между пробуждением и подъёмом, был миг, который он не мог назвать по-другому — не сон, не явь, а остаток, вынутый из весны. Три секунды. Он научился растягивать их: не спешить, не глотать, держать, как держат удар ладонью под сыплющимся песком, — чтобы песок не пересыпался раньше срока. За полгода он собрал из этих секунд короткое лето — секунды, которых у него никто не отнял, потому что они возвращались изъятые, со своими же номерами.

На колесике в кармане было четыре чирка.

Пятый он планировал с осени. Чирки стирали насечку: каждый срезал с колесика слой, и слой был не металлический — счётный. Первые четыре он потратил по расчёту, и каждый раз расход приносил ему то, чего нельзя было купить ни за что другое: уход от строки. Строку, которая уже написана о тебе, не отменяют — её срезают. Чирок срезал. Должность, на которую его ставили внизу, чирок не отменял — но на один час он был не тем, кем его числили, и в этот час никто не мог его вызвать, потому что вызывают того, кто есть в списке.

Теперь он сидел в комнате над иловыми ямами и ждал апреля.

В комнате над ямами пахло мокрым торфом, озёрной тиной и холодным металлом колесика — запахом без графы: воздух здесь не вносили в опись, и потому дышать им было можно.

Ждать он умел лучше всех в городе: это было его ремесло до всего — и его ремесло после всего. Лето гудело над ямами даже сквозь лёд, и он слушал этот гул, как слушают надёжный инструмент: не потому, что он музыка, а потому, что он проверен.

Тетрадь лежала на столе — в той же обёрточной бумаге, на неё была натянута резинка. Тетрадь была вне описи. Это он знал точно, потому что проверял: внесённая строка читается — а его тетрадь не читал никто, кроме него, и не мог, потому что её не вносили. Она не была куплена по накладной, не была подарена по описи, не была завещана по протоколу. Она была — так, как бывает воздух у того, кто дышит: без документов.

И в этой тетради была та страница.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.